

Г. В. АДАМОВИЧ

Странствования по душам

Много лет тому назад, в одной из ранних своих работ, Лев Шестов писал: «Как надо читать? Не к чему мысленно составлять конспект книги, не к чему делать выписки... Надо книгу прочесть, закрыть на последней странице и постараться все в ней забыть. Лишь то, что останется в памяти, сущность книги, “музыка” ее — лишь это ценно». У меня нет под рукой шестовского текста, я передаю его на память, и далеко не дословно, конечно. Это замечание я прочел двадцать лет тому назад — кажется, оно находится в «Апофеозе беспочвенности», — оно удивило меня как парадокс, но с тех пор с каждой новой книгой я все больше убеждаюсь, что в словах Шестова заключена настоящая мудрость. Разумеется, его совет не ко всякому чтению применим. Разумеется, не все книги это испытание выдерживают — даже из тех, к которым шестовское правило можно было бы отнести. Часто бывает: читаешь, и пока читаешь, интересно, увлекательно, но закроешь книгу — не остается ничего, никакого следа, никакого отзвука. Шестовское наставление не только рецепт, оно и мерило, критерий, и в частности для поэзии, где какие бы то ни было «конспекты» были бы бессмысленны, и где только «музыка» и важна, это лучшее мерило, какое можно себе представить. Пожалуй, именно так следует читать и самого Шестова. Его книги в высшей степени интересны, от них трудно оторваться; однако главное в них даже и на полях не нашло места, а осталось где-то между строками, и лишь когда книгу закроешь, оно делается ясным. Перечитывать Шестова можно долго, но не удастся его исчерпать, каждый раз как будто делаешь несколько шагов дальше, и вместе с тем ускользает дальше и мысль автора, тема его. Остаются только вопросы — все очевиднее становится невозможность ответов.

Последняя книга Шестова «На весах Иова», с подзаголовком, который лучше передает ее содержание — «Странствования по душам», — вышла больше года тому назад. До сих пор она вызвала сравнительно мало откликов, и — без всякой иронии — это естественнее всего объяснить тем, что книга еще не прочтена как следует. Помимо ее объема, помимо трудности многих ее страниц, книга эта не то что требует, она вызывает длительное умственное «пищеварение» — прошу простить за этот грубый физиологический образ, но он в данном случае ближе всех других соответствует сущности дела. Даже те главы, в которых все знакомо и сравнительно просто, останавливают внимание надолго. Читаешь — и невольно опускаешь книгу на колени: что если это действительно так? А что если сделать отсюда вывод? Узнаем ли мы когда-нибудь обо всем этом хоть что-нибудь достоверное? Вопросам,

догадкам, сомнениям нет конца, сомнения сами собой переходят в безбрежное мечтание, и человек уносится так далеко, что ему надо сделать большое усилие, чтобы вернуться к исходному авторскому положению и продолжать чтение. Всю человеческую жизнь, всю человеческую веру, все наше знание кладет Шестов на «весы Иова», — удивительно ли, что его книгу нельзя наспех перелистать, невозможно отделаться от нее каким-нибудь обычным замечанием, вроде «очень оригинально! очень интересно!» — и на том успокоиться?

Книга пестрит именами и философскими терминами. Платон, Плотин, Спиноза, Гегель, Гуссерль, гносеология, этика, онтология... Но это вовсе не книга для «специалистов», во всяком случае не «только для специалистов», — и достаточно знакомства с главными фактами истории мысли, чтобы она была понятна (за исключением, пожалуй, только последней статьи, требующей знания новейшей немецкой философии). Для чтения и понимания Шестова нужна не столько философская эрудиция, сколько душевная «обращенность» к тому, о чем он говорит. Нет писателя, который был бы меньше «болтуном», чем Шестов: он всегда думает о «самом важном», он только о «самом важном» и твердит, и вовсе не для того, чтобы блеснуть каким-либо эффектным афоризмом или остроумным построением, а лишь по неутомимому любопытству своему к «началам и концам», по глубокой и страстной заинтересованности. Еще Аристотель насмешливо заметил: «Нет необходимости, чтобы человек думал то, что он говорит». Шестов действительно говорит то, что думает, — это чувствуется в каждом слове его, в самом стиле, всегда изнутри согретом и лишенном всяких признаков «красного словца». И так как «самое важное» у всех людей одинаковое, одно и то же, то и выходит, что шестовские темы всех касаются. Шестов лишь развивает их в направлении, о самом существовании которого не все даже и подозревают.

Мне довелось слышать очень характерный отзыв о «Странствованиях по душам» от человека, который к философскому чтению не привык: учил когда-то в гимназии логику и психологию, да этим и ограничился; ум у него пытливый, и душа беспокойная. «Как странно, — говорил он, — мне представлялось, что философия — это что-то отвлеченное и сухое, вроде алгебры; а оказывается, это то, о чем думаешь иногда по ночам, о чем надо было бы думать всю жизнь, но невозможно... как невозможно всю жизнь биться головой об стену». Не знаю, понял ли этот человек все, что говорится в «Странствованиях по душам» о Спинозе или Плотине. Но что он уловил суть шестовской мысли — это несомненно.

«Странствования по душам» едва ли не лучшая книга Шестова. Она напряженнее, сосредоточеннее, она «мучительнее» прежних. То, что в последней своей статье, напечатанной в новой книжке «Современных записок», Шестов называет «лейтмотивом Чехова», можно, кажется,

отнести к нему самому: «...чувствуется, что люди плохо слышат себя, что нужно бы говорить громче, кричать. А кричать — противно. И говоришь все тише и тише, скоро можно будет и совсем замолкнуть». В беседе с самим собой — или, может быть, с Богом — Шестов еще страстнее, еще несговорчивее, чем прежде, но он стал рассеяннее к людям, он будто оставляет всякую заботу о них и уже несколько не соблазняется ролью «властителя дум», привлекавшей его, кажется, в былые годы. По-прежнему постоянным и единственным поводом к размышлениям, трамплином, с которого он слетает, является для Шестова ограниченность разума и, так сказать, неосновательность его притязаний на неколебимо-прочное верховное место в жизни. Нет для Шестова большего удовлетворения, как показать на примере «избранников судьбы», что даже и этим лучшим, мудрейшим, славнейшим людям случалось иногда убеждаться в бессилии разума и терять почву под ногами. Ему ненавистны творцы систем, считающие, что они все в мире поняли, все объяснили, или, по крайней мере, что все в мире подлежит объяснению. Ему близки и дороги те, которые «ищут, стеная», — по слову Паскаля, — готовые каждую минуту во что угодно поверить, в чем угодно усомниться. Неудача интеллекта — самое радостное зрелище для Шестова. Но было бы, кажется, ошибкой думать, что борьба с разумом есть главная тема Шестова, что ему достаточно ее в качестве дела всей жизни, и что она движет его пафосом. Вернее сказать, что это все-таки лишь «повод». А дальше, когда тирания закона противоречия оказывается поколебленной и когда исподтишка, незаметно, со сдержанным внутренним ликованием выяснено, что хоть у нас дважды два действительно четыре, но, кто знает, где-нибудь в других временах, в других сферах дважды два может быть и пять, — дальше начинается истинная шестовская «музыка», его бесконечные вопросы судьбе, Богу, природе, его безответные «а что если?..», «а не возможно ли это?..» — все то, что он сам часто не в силах договорить, что заключено иногда только в намеках и что, действительно, для всего живого мира есть «самое важное». Да и самая борьба Шестова с разумом гораздо сложнее и трагичнее, чем это может показаться на первый взгляд и чем это многие думают. Шестов с разумом борется и тут же к его помощи прибегает, он его уничтожает и тут же утверждает, он знает изворотливость разума и его мощь, он чувствует его обаяние, он мог бы воскликнуть, как римский поэт, *odi et amo*¹. (Кстати, тема о «банкротстве разума» есть, как известно, модная тема... Когда об этом говорят Шестов или Бергсон, их можно и надо слушать. Но что сказать о наивных снобах, русских и иностранных, которые, не зная даже хорошенько, что такое разум, иначе не пишут теперь это слово, как в иронических кавычках, считая, что «его песенка спета», что он уничтожен навеки! Сюда же отнесем и досужие разговоры о девятнадцатом веке, который, видите ли, слишком доверился

разуму и потому тоже обанкротился, — о «тупом» девятнадцатом веке, как принято выражаться. Жаль, что разум, а заодно и девятнадцатый век никак не соберутся на все это пустословие ответить во всеоружии своих доводов, во всем блеске своих «рассудочных» оснований.) Вероятно, Шестов чувствует, к каким последствиям привела бы его победа над разумом, и потому, может быть, он так и смел в борьбе, что знает — победы не будет.

Здесь мы подходим к самому существу книги Шестова, и здесь, мне кажется, уместнее всего остановиться. Я намеренно не пытаюсь передавать содержания «Странствований по душам». Невозможно уложить в газетную статью книгу, за которой чувствуется несколько десятилетий напряженнейшей мысли — не стоит это делать потому, что в такой «передаче» ничего не было бы передано, и не следует делать это из уважения к автору. Скажу только, что в «Странствования по душам» включены две статьи о русских писателях — о Толстом и Достоевском, затем статьи о Паскале и Спинозе и о Плотине, и ряд отдельных заметок. Книга лишена плана, последовательности, чтение можно с чего угодно начать, на чем угодно оборвать. Шестов с маниакальной настойчивостью толкует всегда о том же, и нельзя даже сказать, что он сразу вводит в суть дела — потому что у него только «суть дела» и есть. Если вдуматься, то становится ясным, что все Шестовым написанное есть обширный и патетический комментарий к нескольким мыслям, нескольким положениям, высказанным его «философскими любимцами». В «Странствованиях по душам» особенно заметны три таких темы-стержня. Во-первых, это слова Платона о том, что человек, «истинно приверженный к философии, занимается только умиранием и смертью»². Во-вторых, слова Плотина: «Великая и последняя борьба ждет человеческие души»³. Наконец, в-третьих, загадочные слова Паскаля, которые то вдруг становятся совершенно ясными, будто в каком-то проблеске, то опять становятся совершенно непонятными.

Шестов знает, что говорит всегда об одном и том же. Не без основания он в статье, помещенной в «Современных записках», возражает: «...словно другие не об одном и том же говорят!» Он знает и то, что многие «сердятся» на него за его писания, и объясняет это тем, что он не дает людям спать. «Злятся, нужно думать, потому же, почему злятся спящий, когда его расталкивают. Ему спать хочется, а кто-то пристает: проснись». Сравнение не совсем точное, и уж если сравнениями пользоваться, надо было бы сказать иначе. Оставим вопрос о «злобе», он не важен... Но не то, чтобы Шестов не давал людям спать, нет. Его дело грустнее, опаснее, оттого и есть в каждой шестовской строчке привкус самоистязания. Похоже, будто люди, плохо ли, хорошо, построили себе какой-то дом, где и укрылись от «стихий». Может быть, они бедный, жалкий, убогий дом себе построили. Может быть, первый строитель — не Аристотель ли? — должен был лишить людей

«счастья и поэзии безначалия», чтобы вогнать их туда... Может быть. Но — иначе жить нельзя. Шестов же как будто снова гонит людей вон, на бесконечный, ледяной простор, где, обретая свободу, они снова окажутся от всего беззащитны. Никогда мы добровольно свой дом, убежище разума, не покинем, но

...страшных песен сих не пой!..
*Под ними хаос шевелится!..*⁴ —

вспоминаются порой тютчевские стихи, когда читаешь Льва Шестова.

И. А. ГОФШТЕТТЕР

В плену философско-теологической путаницы (О Розанове, Гегеле и Шестове)

«Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых»¹. Эти сильные слова часто повторяются, но внутренний смысл их не воспринимается во всем его величии и значении ни слушателями, ни ораторами. Он устанавливает сокровенную, неразрывную связь религии с жизнью и Бога с человеком: религия, которая не одухотворяет и не направляет человеческую жизнь, уже не религия, а только старый хлам пережитых верований, сохраняющийся в душевном обиходе единственно в силу духовной пассивности и логической неряшливости безверных. Бог, который не дает живым могучего вдохновения к вечному совершенствованию жизни, уже не Бог, а какая-то ненужная и бессмысленная внешняя формальность понимания, слово без реального значения, бессильный и заскорюзлый предрассудок отжившего прошлого... Официальная вера без дел сама превращает Бога в пустую скорлупку, делает его мертвым, выбрасывает из жизни, как уже отслужившую ветошь. Если Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, то и Церковь должна быть не сборищем духовных и моральных мертвецов, лишенных живого действия, но центром моральной и духовной жизни сменяющихся поколений человечества, ибо самая основа ее бытия — не дух кладбищенского плена, а дух Жизни в ее неустанном зиждительстве, в ее вечном активном устремлении к божественному совершенству.

Но вот слышится безумный, душу надрывающий крик: «Бог в гробу!» Какие страшные слова! Их произнес с ужасом и отчаянием в душе один из глубочайших мыслителей русских — Василий Розанов. Теперь эту потрясающую фразу его повторяет один из талантливейших пи-